

ЛЯСКОВСКИЙ А. В. — в ПОМПОЛИТ

ЛЯСКОВСКИЙ Александр Всеволодович, родился в 1881. Получил высшее медицинское образование, врач. В 1900-х — служил морским врачом, плавал в Охотском и Японском морях и Татарском проливе; в 1911 — передал коллекцию живой морской фауны, собранной на двенадцати станциях, в Зоологический музей. В 1930-х — проживал в Севастополе, служил консультантом по внутренним болезням в Севастопольском Институте Физических методов лечения. Женат на Варваре Николаевне Лясковской, в семье — дочь Нина и сын-инвалид. 13 ноября 1930 — арестован вместе с женой, дочерью и зятем и заключен в Крымский изолятор. 6 июля 1931 — приговорен к 10 годам ИТЛ.

В сентябре 1931 — обратился за помощью в Помполит.

<12 сентября 1931>

«В Общество помощи политическим заключенным

Кузнецкий мост, 24, кв. 7.

Осужденного ЛЯСКОВСКОГО,
Александра Всеволодовича
содержащегося в Крымском
изоляторе

Ж а л о б а

Я оказался осужденным на десять лет концлагеря по постановлению ОГПУ от 6 июля сего года по ст. 58-10 и 58-11 УК. Жалуюсь я на неправильное ведение следствия, на незаконное со мной обращение в период следствия и на подтасовку фактов и обстоятельств, произведенных следственным аппаратом Особого Отдела ВМСЧМ согласно следственного материала, которого я и был осужден.

По профессии я врач, последние десять лет я служил консультантом по внутренним болезням в Севастопольском Институте Физических методов лечения им. Сеченова, научно-лечебного учреждения, ведущего ответственную работу по лечению крупных партийных и советских работников. Контингент прохождения через мои руки, как врача Института, больных был в громадном проценте партийный; заболевания требовали большой энергии, внимания и приложения знаний, накопленных годами практики. Работу свою я вел безукоризненно и получил признание бескорыстного и знающего врача, авторитет которого был большим, и известен я, как врач, обширному кругу лиц и ныне здоровых и действующих на крупных постах на службе Советам (Рыков, Янсон, Кутузов и многие другие). Арестован я был у себя дома 13 ноября 1930 года в городе Севастополе по ордеру Особого Отдела и содержался при обыске. Был с первого дня лишен передачи пищи и белья до 26 марта, т. е. 4½ месяца. Я находился на скудном недостаточном пайке, имея еще болезнь — язву желудка, пребывая в истлевающем белье, без одеяла и подушки в нетопленном подвальном помещении. За все время болезни я получил 4 порошка салола. Одновременно со мной была арестована моя жена Варвара Николаевна Лясковская, а через несколько дней мой зять Кузьминский Михаил, командир 131 артиллерийского полка, и моя дочь, Кузьминская Нина. Дома остался мой сын 19-ти лет, калека, недвижимый паралитик, и внучка 4-х лет.

С первых допросов пошла речь о карточной игре, о разговорах, которые за таковой велись, и о тех лицах, которые посещали мой дом.

Постепенно вырисовывалась картина вливания политического содержания в совершенно дозволенные жизнью и обстоятельствами часы отдыха за карточным столом, введение в политический круг целого ряда лиц, кроме карт, мне совершенно чужих и безразличных, знакомых мне по совместной врачебной работе. С первой же беседы было потребовано сознание чистосердечное, которое только и может удовлетворить О<собый> О<тдел>. Не зная и не представляя себе, в чем же именно нужно сознаваться, я ясно и последовательно рассказывал о своем времяпрепровождении, не видя, как не вижу и сейчас, в оном ничего предосудительного и, конечно, уж ничего политического. Я не скрывал ни одного момента ни прошлой жизни, ни жизни последних лет, так как это была жизнь врача, за каждый день которой я мог ответить, но не в уголовном порядке и не в политическом отношении. Загруженный своей работой, политикой я интересовался мало, область эта для меня малоизвестна, почестей никогда не искал, довольствуясь справедливо тем, что пользовался доброй славой хорошего врача. Вероятно, за упорный отказ от “сознания” в несуществующих преступлениях я и был подвергнут тяжелому режиму содержания под стражей без необходимой мне пищи и белья, лишенный возможности даже читать и писать, т<ак> к<ак> у меня были отобраны очки. Физические мои страдания были велики, но таковые не могли бы сломить мою волю и заставить возвести на себя невероятные преступления, если бы к этим обстоятельствам не прибавилось еще очевидное давление на арестованную дочь мою, женщину ограниченного ума, неспособную разобраться в политических обстоятельствах, неспособную оценить умение следователя вкладывать в допрос свое содержание, а не слова допрашиваемого лица.

И вот, совершенно неожиданно для себя, я оказался оговоренным, вернее аттестованным своей любимой дочерью с ужасной стороны, как контрреволюционер. Такие ее показания мне прочли. Прочли показания и жены леккома Трокачева, арестованной вместе с мужем своим, зятя моего Кузьминского и врача Емельянова. Все эти маленькие напуганные люди наперебой старались аттестовать меня с дурной политической стороны, но, конечно, лишены были возможности привести в своих показаниях скорее рассуждения о моей личности, <но> хоть один факт действия или намерения, направленного против Сов<етской> власти. Когда теперь осужденный на 10 лет, я сравниваю свою большую деятельность, реальные положительные свои действия, направленные на восстановление здоровья Советских крупных работников, и ту малограмотную аттестацию, что мне дали на допросах эти неискушенные и спасавшие себя люди, что я вижу, что и ими я как бы обвинялся в нехороших мнениях о некоторых мероприятиях Сов<етской> власти, то есть в каком-то бездейтельном осуждении того, что происходит, в то время как сам-то я являлся энергичным строителем здоровья непосредственных творцов социализма. Разрыв получается громадный и неестественный. Буквально раздавленный нелепостью всех этих показаний, на себе ощущая силу давления следственных властей, я понимал, что показания были продиктованы, что действовали и обещаниями свободы, и предложениями спасти только себя, а для близких путь очернения меня указывался как путь к моему освобождению. Дочери же моей попросту все было написано, ибо были введены понятия, ей вовсе незнакомые, на изложение мыслей записанных, как ее показания, она, как это хорошо было мне известно, была и вовсе неспособна. В показаниях этих самые естественные события — карточная игра — приобретала политический смысл, обмен шуткой смысл агитации, а обычное и допустимое сомнение — смысл антисоветских выступлений. Приведенный к убеждению, что дрящееся следствие попросту уничтожит меня голодом, задержит всю

мою семью в изоляторе, я в середине февраля месяца признал наличие контрреволюционной группировки в числе игроков в винт, не давая никаких показаний о целях и намерениях этой группировки, к тому же убежденный следователем, что и вины нет в тех разговорах, которые велись за карточной игрой, что группировка это же вовсе не организация, что мне, наконец, ничего не грозит.

Я думаю, что в первой части своих рассуждений уговоривший меня следователь прав, что действительно не может быть вины в одних разговорах, коли нет намерения действовать и уж, конечно, нет действий против Сов<етской> власти. Меня одолевали многие сомнения в результатах начинаний, но эти сомнения, во-первых, разбивались самой жизнью, во-вторых, сомнения — вообще не преступление, а, в-третьих, я-то работал настолько хорошо и продуктивно, что увеличив эти сомнения и в сотый раз, они не могли бы помешать моей деятельности, так как жизни моей непосредственно мероприятия Сов<етской> власти не касались, так как я не лишился не имущества, ни результатов своего труда. К удивлению моему, в результате работы следовательского аппарата в группировку влиты лица, абсолютно не имеющие отношения к карточным играм и, следовательно, и разговорам за ними и, следовательно, к тем другим лицам, которые играли в карты. Например, Кнорус, являвшийся сначала моим пациентом, затем знакомым, но никогда не бывавший у меня на карточных вечерах, как не игравший в карты и, вообще, посещавший меня чрезвычайно редко и то больше по медицинским надобностям. Влит Баштанников, разрушающийся старик¹...

Ныне, отвергая все нелепые “сознания” как свои, так и истинность “сознаний” всех остальных допрошенных, я прошу проверки моих действий, моей работы, а не моих выдуманных за меня мечтаний и причисление ко мне несбыточных надежд. Прошу допроса членов партии: Худякова, б<ывшего> Нач<альника> Бронечастей Республики, ныне председателя Всесоюзного Химтреста, Санаева Михаила Ивановича, б<ывшего> уполномоченного Глав<ного> Суда Крыма, ныне работающего в Москве, — наших частых партнеров в преферанс, которые много раз в течение нескольких лет наблюдали нас, меня, в частности, видели и слышали все, что происходит у меня в доме, и должны же были видеть, что никакого политического содержания эти безобидные вечера в себе не содержат.

Лечить мне, как врачу, пришлось Держинского, Янсона, Рыкова, Яковлева (б<ывшего> Наркомсобеса), Кутузова А. И. и многих других; все эти крупные лица наблюдали меня, видели в работе и знали меня по работе. Большинство из них могут, я надеюсь, и сейчас дать отзыв о моей работе, направленной, следовательно, на ясную пользу Сов<етской> власти. Тов<арищ> Янсон лечился у меня в Институте два сезона. Все ответственные работники Особ<ого> Отд<ела> и ГПУ, лечившиеся в Институте, соприкасались со мной и знали меня по работе. Таким образом, за часть своей частной жизни я осужден, а работа моя не учтена. За свою жизнь я много работал на холере, проказе, чуме, сыпном тифе и пр<очих> инфекционных болезнях, так как окончил курс в Москве в Сокольнической заразной больнице.

Прося проверки — пересмотра дела, я одновременно прошу о нормальной обстановке следствия, когда должна будет разъясниться искусственность созданной группировки, случайность введения в таковую самых разнообразных и несвязанных друг с другом лиц, когда будет учтена моя непосредственная деятельность.

Александр Всеволодович

¹ Далее перечисляются еще несколько знакомых и мало знакомых людей.

ЛЯСКОВСКИЙ.

12 сентября 1931 г<ода>.

С подлинным, которое направлено т<оварищу> Катаньяну,
верно.

<подпись>»².

² ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 643. С. 28-31. Машинопись, обращение в начале письма и последнее предложение с подписью — автограф.